СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА ЮГЕ РОССИИ

УДК 323.11



М.Ю. Барбашин

M.Y. Barbashin

ЭТНОГЕНЕЗ В ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ НА ЮГЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ¹

ETHNO-GENESIS IN LOCAL COMMUNITIES IN THE SOUTH OF RUSSIA IN PREREQUISITE OF THE TRANSITIVE SOCIAL TRANSFORMATIONS

В статье рассматриваются методологические возможности и структурные проблемы применения теории неоинституционализма к анализу этногенеза в локальных сообществах на Юге России. Показано, что этногенез южнороссийских этносов необходимо изучать с точки зрения неоинституциональной методологии. Анализируя неоинституциональное содержание процессов этногенеза, автор приходит к выводу, что следует снизить конфликтогенность этногенезисных процессов и вывести региональный социум из состояния устойчивой стагнации с помощью новых и продуктивных институтов.

In the article methodological opportunities and structural problems of applying the theory of neoinstitutionalism to the analysis of ethno-genesis in local communities in the South of Russia are analyzed. The article shows that ethnogenesis of South-Russian ethnogroups should be analyzed from the point of the neo-institutional methodology. Analyzing the neo-institutional meaning of ethno-genesis processes, the author comes to the conclusion that one needs to decrease conflictability of ethnogenesis and stabilize the regional society by using new institutions.

 $^{^1}$ Подготовлена в рамках реализации научного проекта «Этногенез в локальных сообществах: неоинституциональный анализ», поддержанного Советом по грантам Президента РФ, Конкурсной комиссией Роснауки в области общественных и гуманитарных наук 2010-2011 гг. на право получения грантов Президента РФ по программе государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук (МК -4092.2010.6).

Ключевые слова: этногенез, сообщество, трансформация, этничность, институты.

М.Ю. Барбашин

Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник ЮРФИС РАН (г. Ростов-на-Дону).

e:mail: barbm@yandex.ru

© Барбашин М.Ю., 2012

Key words: ethno-genesis, community, transformation, ethnicity, institutions.

M.Y. Barbashin

Candidate of Sociology, Senior Researcher SRDIS RAS (Rostov-on-Don). e:mail: barbm@vandex.ru

© Barbashin M.Y., 2012

Процессы формирования южнороссийских этносов с начала XX в. ясно показывают, что этногенез на региональном уровне имеет четкие институциональные особенности, которые меняются по мере трансформации исторических эпох. В послереволюционный период, несмотря на провозглашенное стремление обеспечить социальный комфорт всем этногруппам, государственные власти по политическим мотивам развивали институты этногенеза в сфере языка и культуры, прежде всего у «титульных этносов». Обычно из нескольких этногрупп достаточно произвольно (иногда влияние оказывала этнопринадлежность того или иного руководящего партийного чиновника) выбирались одна или две, в соответствии с названиями которых формировались и соответствующие республики. При этом в двусоставных республиках (Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечено-Ингушской Республике) четко выделялись титульные группы первого (кабардинцы и карачаевцы) и второго порядков (балкарцы и черкесы). У первых было больше административных прав, чем у вторых, но административное положение и тех, и других было лучше, чем нетитульных этносов.

Титульным этногруппам из центра передавались административные права как «смотрящим» за региональным порядком. Титульные группы могли рассчитывать на финансовую поддержку, на строительство дополнительных колхозов на сельскохозяйственной территории и т.п. Строгая иерархизация этносов послужила основой формирования институционального конфликта между титульными и нетитульными этносами, которые претендовали на общие ресурсы. Нетитульные этносы оказались в уязвимой административно-политической позиции как в стране в целом, так и в регионах постоянного проживания. Такая ситуация характерна не только для Северного Кавказа, но и для многих стран Азии и Африки. Как указывает Ч. Тан, государства конкретизируют значения этноидентичностей «меньшинств-отшельников», когда выделяют их для дискриминационной политики [1]. Не ощущая внутренней связи с враждебным для них государством, элиты нетитульных этносов придерживались «иллюзий компенсации», подчеркивая, что этнос обладает «огромной духовно-

стью...чувствительностью, человеческой теплотой, поэтической душой и духовной близостью к тому, что действительно важно в жизни» [2]. В этой связи большое значение приобретает наблюдение А. Лейпхарта о том, что «ощущение уязвимости и незащищенности дает сильный импульс для укрепления внутренней солидарности» [3].

В 20-30-е годы происходило изменение этнодемографического состава населения, которое сопровождалось формированием титульных этносов посредством большого количества административных и территориальных переделов (на Северном Кавказе в 20–50-е годы их было более 40) за счет произвольного использования собранных воедино центральными властями финансовых, социальных, политических и административных ресурсов. К примеру, в 20-е годы зоны проживания северокавказских лезгин были территориально разделены практически наполовину между Южным Дагестаном и Азербайджаном. Внутригосударственные территориальные переделы, такие как структурирование границ этногрупп, применялись во многом и потому, что советским властям в период авторитарного развития не обязательно было прислушиваться к мнению населения перекраиваемых республик, краев и областей, а также к мнению местной элиты, которая практически всегда поддерживала национально-территориальные изменения в контексте общей партийной линии, как из-за страха перед возможными репрессиями, так и из-за высокой степени идеологической преданности.

Следует сказать, что территориальные переделы облегчались вследствие падения власти традиционалистских групп. Так, в 20-е годы накопленный столетиями институциональный опыт адатов и шариата был поставлен под сомнение как не соответствующий новой социально-политической реальности. Дореволюционные межэтнические отношения деформировались под воздействием идеологии. Этногруппы оказались в ситуации, когда их авторитет зависел не столько от многовековой истории рода или клана, сколько от наличия среди его представителей членов партии.

Как партийные лидеры, так и сами этногруппы сравнивали друг друга по ряду идеологических и политических параметров, которые обеспечивали своим членам позитивные самооценки (количество членов ВКП(б), других государственно-общественных организаций, наличие общественных инициатив по поддержке административных действий властей и пр.). Часть этногрупп партийная элита структурировала как потенциально нелояльных. Этническая и/или конфессиональная принадлежности стали двусмысленными маркерами идентичности и лояльности к советскому строю. Произошла иерархизация как этносов, так и образующих их этносубгрупп на «классово близких» (к которым относились, к примеру, в Чечне тейпы и вирды, находящиеся в политической оппозиции к дореволюционным властям, а также «деревенская беднота») и «классовых

врагов» (тейпы, обладающие большим количеством сельскохозяйственных земель, крупным рогатым скотом, такими небольшими сельскохозяйственными предприятиями, как мельницы или маслобойни, и т.п.). По отношению как к первым, так и ко вторым господствовали правила «круговой поруки», когда в локальных этносообществах каждый потенциально отвечал за другого, а недоносительство на родственников, знакомых, соседей и друзей воспринималось как партийный грех и предательство интересов государства.

Дискредитируя традиционные ценности, а также их носителей как классово враждебных социализму, власти переделывали региональный социум с четким разделением социальных и ролевых функций в пластичную массу, которой было легко политически управлять и использовать как модернизационный ресурс на масштабных стройках или в военных целях. Стремясь для реализации мобилизационных планов изъять ресурсы из традиционной среды, власти полагали, что восприимчивость индивидов к традиционным, этническим и конфессиональным институтам означает нелояльность по отношению к социалистической действительности. В этом смысле этничность выполняла стратификационные функции.

Государственная поддержка институтов этничности (например, кодификация северокавказских языков в латинице и кириллице) больше направлялась на повышение грамотности населения, чем на развитие этничности как таковой. Кроме того, этничность с начала 1920-х годов в общественном сознании стала ассоциироваться с чем-то «отсталым», «отжившим», «традиционным» или «буржуазным». Напротив, советская идеология представлялась индивидам, которые еще в начале XX в. были аксиологически зажаты в традиционализме, как шаг вперед в общественном развитии человечества, как идеология будущего «нового мира». Вплоть до конца 80-х годов в Советском Союзе росло число людей, в этноидентификационной системе которых ментально господствовал «советский человек».

Примитивизация этничности как «отсталой» формы развития нации стала институциональной причиной отставания советской этнологии от западных аналогов. Советские этнографы маскировали интерес к этногенезу изучением традиционных сообществ, этноязыков и диалектов, этносимволических структур. В условиях партийного диктата и идеологического контроля внутри институтов высшего образования и академической науки советским этнологам было проще изучать этничность за пределами Союза, чем «вскрывать» межнациональные проблемы, поскольку такой анализ был бы связан с выявлением политических недостатков идеологии «дружбы народов» и критикой национальной политики. Власть опасалась развивать социологию этногенеза (как и почти все другие социологические направления), поддерживались только «дозированные» этнографические исследования. Научные связи между советскими и западными уче-

ными были ограниченными. Во многом поэтому ученые, как и власти, оказались концептуально и методологически не готовы к национализму 1980-х.

Несмотря на мобилизационный тип экономики, высокую степень концентрированности ресурсов, отсутствие внутренней оппозиции (которая могла бы поставить под сомнение порядок расходования бюджетных средств, не говоря уже о том, чтобы открыто протестовать или предлагать альтернативу, поскольку такая деятельность характеризовалась как «антисоветская пропаганда») и гражданского общества (не считая патерналистских общественных организаций, контролируемых как партией, так и спецслужбами), ресурсы на развитие наций были ограниченными.

Учитывая закрепленную в Конституции СССР 1977 г. неизменяемость системы национальных и автономных республик в составе СССР и невозможность формального повышения политико-правового статуса регионов, партийные элиты республик, а также национальная интеллигенция должны были убедить центральные власти увеличить выделяемую для их этносов долю ресурсов.

В системе политических сдержек и противовесов, которая включала институты согласования интересов партийной и советской элит и корпоративных групп влияния (ВПК, силовых структур, крупнейших профсоюзов и т.п.), этногруппы включались в «мягкую» форму конкуренции. В качестве инструмента политического давления и перераспределения ресурсов в пользу этногруппы национальной интеллигенцией использовались жалобы и доносы, которые публиковались вначале в местной и региональной прессе, а к концу 1980-х — и в центральных партийных изданиях, как народные «письма трудящихся» властям по поводу недостаточных средств, выделяемых на развитие науки, образования или культуры.

Хотя в Советском Союзе отсутствовала объективная мониторинговая информация об обеспеченности ресурсами этногрупп (по причине вообще слабой развитости социологии и сложности проведения прикладных исследований), а отдельные статистические данные фальсифицировались в целях геополитической дезинформации, интеллигенция подчеркивала:

- 1) несправедливое распределение общего ресурса печатных типографских листов, имеющихся в региональных издательствах и предназначенных для выпуска монографий, сборников статей, детских книг и пр., на этноязыках;
- 2) разницу в количестве подготовленных и защищенных кандидатов и докторов наук среди представителей той или иной этногруппы;
- 3) наличие или отсутствие гуманитарных институтов, разрабатывающих этнокультурную проблематику;

- 4) наличие или отсутствие университетов, педагогических, сельскохозяйственных и технических вузов, в которых могли бы обучаться представители молодежи той или иной этногруппы;
- 5) наличие или отсутствие театров и домов культуры, телепрограмм и радиопрограмм, в которых обсуждались бы проблемы этнотрадиций;
- 6) небольшой объем выделяемых финансовых ресурсов на поддержку народных промыслов и ремесел.

В качестве институционального критерия справедливости распределения ресурсов использовались не только демографические пропорции (численное соотношение проживающих в одном регионе этносов между собой), но и исторические аргументы, ссылки на войны прошлого, количество героев Советского Союза и Социалистического Труда среди представителей того или иного этноса и пр.

К середине 80-х годов затраты на сохранение социальной инфраструктуры у этногрупп стали настолько большими, что превзошли экономический уровень развития общества. Государство уже не могло позволить себе содержать такое количество школ и университетов, врачей и представителей гуманитарной интеллигенции. Со второй половины 80-х — начало 90-х годов в условиях роста бюджетного дефицита, вызванного падением стоимости барреля нефти на мировых биржах, и углубления социально-экономических межрегиональных диспропорций, взаимные жалобы и обвинения между соседями по республикам перешли из сферы теневой политической борьбы и административного обсуждения в центральных партийных органах Советского Союза в область общественного дискурса, открытого как советским гражданам, так и западной прессе.

В советском обществе отсутствовал социально-психологический «иммунитет» к спокойному обсуждению национальных проблем и спорных процессов этногенеза. Ни элита, ни интеллигенция, ни широкие массы не были вакцинированы против возможного всплеска национализма. В общественном сознании отсутствовали представления о толерантности, космополитизме и мультикультурализме. Доминирующий классовый подход был настроен на непримиримость к другим точкам зрения. Диссиденты воспринимались как «неполноценные», которых нужно переубедить, подкупить, отправить в тюрьму или на психиатрическое лечение. В условиях распространенного конформизма и двоемыслия, когда для обсуждения в кругу друзей разрешалось иметь диссидентские взгляды, но на публике нужно было демонстрировать веру в официальную идеологию, общество оказалось не готово к появлению убежденных в национальных и религиозных ценностях людей, которых не пугали репрессии.

К середине 1980-х и партийные, и советские карательные органы институционально ослабли. Представители силовых структур вовлекались в неформальную экономику и коррупционные связи с националистиче-

скими кругами. Некоторые партийные чиновники, понимая бесперспективность социалистической системы, постепенно склонялись к поддержке «своих» этногрупп, готовя себе «запасной аэродром».

Но партийная номенклатура настолько привыкла к внешней идеологической, административной и финансовой стимуляции, что до самого распада Советского Союза не смогла понять, как бороться с национализмом. Ее реакция была неотрефлексированной. Она всегда запаздывала, применение силы было либо чрезмерным и вызывало возмущение со стороны национальной интеллигенции, либо неэффективным. Оптимальный баланс между миротворчеством и принуждением найти не удалось. Силовые операции в зонах межэтнических столкновений были непоследовательными. Они часто прерывались так называемыми «перемириями», при этом отсутствовало четкое стратегическое видение, к какому именно порядку нужно стремиться. Советские власти колебались, освещать ли происходящее в зонах межэтнических столкновений или скрывать в максимально возможной степени (но тогда возникали и быстро распространялись среди населения слухи, и межэтническая ситуация еще больше накалялась). Власти не знали, наказывать ли обе стороны в межэтнических столкновениях или только одну из них, как определять степень вины отдельного человека в межэтнических погромах, нужно ли договариваться с националистической оппозицией (часть которой являлась членами или родственниками влиятельных функционеров) или ее нужно сразу преследовать в уголовном порядке и т.п. Многолетняя привычка подчиняться приказам центральных властей демотивировала региональную бюрократию до такой степени, что часто она не предпринимала никаких действий до тех пор, пока конфликтогенная ситуация не выходила из-под контроля.

Уголовное законодательство было институционально заточено под преследование несогласных в среде интеллигенции по статьям об антисоветской пропаганде, но фактически отсутствовали отдельные уголовные составы по преступлениям в сфере распространения ксенофобии, религиозной нетерпимости, экстремизма, нацизма, расизма. Быстрое изменение законодательства было невозможно: забюрократизированная система не могла своевременно реагировать на вызовы национализма. Кроме того, с политической точки зрения признание угрозы национализма означало бы крах этноинтеграционного проекта создания нового советского человека, а также признание того, что в стране, победившей в Отечественной войне, не существует психологического иммунитета к распространению нацизма, а многолетние лозунги о «дружбе народов» не способны противостоять этнорелигиозному экстремизму и ксенофобии. Отсутствовали и соответствующая судебная практика, и опыт расследования преступлений в сфере межнациональных отношений у органов советской прокуратуры. Этнические бунты правоохранительная система классифицировала

в основном как «хулиганство», что не способствовало ни росту доверия к карательным органам со стороны потерпевших, ни росту страха со стороны потенциальных нарушителей законов.

Идеологически взращенная убежденность советского человека в правильности одной точки зрения послужила питательной средой для возникновения такой же убежденности националиста в приоритете только одной нации. Институт толерантности в России до сих пор является маргинальным и воспринимается общественным сознанием как некоторая терпимость к антисоциальным явлениям или как политическая уступка общественному мнению из-за невозможности справиться с оппонентом силовым путем. В советском дискурсе диалог с оппонентом не представлял ценности. Неуважение к общечеловеческим правам и свободам стало социально-психологической основой неуважения к правам других этногрупп. В условиях доминирования и дегуманизации других этносов не соблюдались ни права индивида, ни коллективные права этногруппы, в которую этот индивид входит как полноправный член.

К середине 80-х годов выяснилось, что бюрократическая машина не продуцировала социальное доверие. Ни суды, ни правоохранительные органы, ни партийные структуры не обладали достаточным политическим, нравственным и социальным авторитетом, чтобы остановить межэтнические конфликты. На первое место вышли локальные этнокланы, которые позиционировали себя как защитники «простого советского человека» от криминала и теряющей управление бюрократии.

Когда получившие цензурные послабления центральные и региональные СМИ начали обсуждать межэтнические проблемы без всяких самоограничений, у граждан создалось впечатление, что развиваемая в предшествующие десятилетия «дружба народов» была «неестественным» партийным конструктом. Высокий уровень латенизации взаимных этнопретензий (поскольку открытый национализм подавлялся политическими, милицейскими и военными методами) после объявления партийным руководством политики открытости привел к «эффекту лавины». Национализм привлек симпатии тех, кто был лишен социальных перспектив в рамках социалистических отношений. Идеологическая дискредитация «советского человека», как не приспособленного к рыночной экономике «совка», продуцировала интерес индивидов к другим идентификациям, включая те, которые по политическим причинам в советское время подавлялись. Люди стали задумываться об этнопринадлежности, этночувствах и эмоциях, дореволюционных корнях, генеалогических линиях, традициях и пр. Они стали внимательнее относиться к этнической и конфессиональной принадлежности соседей по национально-территориальным образованиям, которые могли бы оказаться конкурентами в борьбе за власть и ресурсы. Поскольку членство в партии уже не гарантировало успешной

карьеры, начался исход функционеров из КПСС и комсомола, стали появляться новые партийные платформы на некоммунистической основе, этнопринадлежность стала основой идентификационного поведения. У жителей Северного Кавказа «внезапно» возникли друг к другу ксенофобия, страх и взаимное недовольство из-за различий в интерпретациях событий, отраженных в национальной памяти, исторических, культурных и социальных травм, будто бы нанесенных другими этногруппами или властями, а также территориальных претензий.

Взаимная политическая уступка не считалась приемлемым результатом разрешения конфликтов. Традиционные институты компромисса заменили капиталистические ценности индивидуального успеха, культа силы и власти. Разочаровавшись в скомпрометированных советских идеалах и не доверяя либеральным институтам, региональные элиты предпочли стратегию этнического замыкания и традиционалистской реконструкции.

Этнолидеры больше внимания уделяли необходимости отстаивания интересов своего этноса даже в ущерб соблюдению прав представителей других этногрупп, чем необходимости поиска компромисса с региональными соседями. Конфликты прошлого оказались «затертыми» последующей историей. У выросших в силовом и партийном диктате региональных элит не было адекватных представлений ни о реальной финансовой, социальной и человеческой стоимости силовых способов решения конфликтов, ни о возможном потенциале, который они, как лидеры этногрупп, могут использовать в межэтнических столкновениях, ни о символическом значении, которое имеют для этносообществ те или иные территории. Этноэлиты переоценили готовность этногрупп защищать с оружием те или иные ценности. Ввязываясь в межэтнические конфликты, элиты не ожидали сопротивления, предполагая, что демонстрации силы и решительности достаточно. Однако война «понарошку» быстро превращалась в войну с применением бронетехники, артиллерии, авиации. Опыт 90-х показал, что не во всех случаях жители Юга России готовы вступать в насильственные конфликты, и часто их цена воспринимается как неприемлемая.

Неконтролируемые этноконфликтные процессы на Юге России в 90-е годы маргинализовали общественное сознание и привели к росту социальной неуверенности, неопределенности и аномии. Произошли архаизация и регресс этногрупп к докапиталистическим отношениям. Реанимации традиционалистских институтов кровной мести и рабовладения способствовали не только конфликты и появившиеся в них похищенные и военнопленные, но и общая дегуманизация межэтнических отношений.

Поскольку в республиках выдвижение лидеров регулировалось традиционными механизмами, которые пришли на смену партийным, то этногенез обрел этнопатримониальный характер, основывающийся на религиозных и/или этнических традициях, а также харизматической власти

авторитарного лидера. Появление патримониально-деспотических режимов сопровождалось понижением уровня жизни населения. Под «зонтиком» идеологии восстановления исторической справедливости и развития этнокультуры титульные этногруппы заняли привилегированные позиции в политической и административной сферах (например, в Адыгее политические позиции заняло этноменьшинство адыгейцев).

Смена институтов и активизация этногенеза на фоне социальноэкономической депрессии сопровождались идеологизацией этносоциологических исследований. В конце 80-х – начале 90-х годов возник интерес к этногенезу, подкрепляемый в том числе и широким распространением среди северокавказской интеллигенции трудов Л.Н. Гумилева. Однако этот интерес не был реализован в политически не ангажированных исследованиях, такие исследования субъективизировались в соответствии с политическими мотивами и целями, чтобы доводы в пользу исторической «древности» использовать в межэтнической борьбе. У этногрупп и этнодиаспор появились гуманитарии-эксперты, сторонники теорий автохтонного происхождения населения. Представители гуманитарных специальностей интерпретировали в этнонационалистическом русле научные данные, полученные в советское время. Выстраивая этногенез южнороссийских народов как ценностное, идеологическое и культурное противопоставление с внешним врагом, националистически настроенные ученые издавали рассчитанные на массового читателя работы, изобилующие художественными сравнениями, гиперболизацией отдельных исторических процессов, упором авторов на собственный опыт в зонах конфликтов.

Хотя в процессе исторического развития этносы смешивались между собой, этноинтеграционные процессы в 90-е годы оказались забытыми. Национальной северокавказской интеллигенции не удалось сформировать «адыгский суперэтнос» из нескольких близкородственных народов. Неудачей закончился и проект формирования идентичности «дагестанцев».

С начала XXI в. жителей региона больше волнуют не проблемы этнокультуры, истории или языка, а тарифы ЖКХ, высокий уровень безработицы, потребительская инфляция и т.п. Если в 90-е годы региональные элиты использовали межэтнические столкновения для получения финансовой поддержки, то увеличив с 2000 г. объемы трансфертов на модернизацию, власти в значительной мере деинструментализировали этничность и этногенез. Однако снижение конфликтогенности этногенезисных процессов и выведение регионального социума из этноконфликтной стагнации без системных институциональных реформ невозможно.

Примечания:

- 1. *Tan C.B.* Indigenous People, the State and Ethno-genesis: A Study of the Communal Associations of the Dayak Communities in Sarawak, Malaysia // Journal of Southern Asian Studies (28). 1997. P. 264.
- 2. *Margali A.T.* The Moral Psychology of Nationalism // Robert McKim, and Jeff McMchan, eds. The Morality of Nationalism (New York: Oxford University Press), 1991. P. 77.
- 3. $\ensuremath{\mathit{Лейnxapm}}$ А. Демократия в многосоставных обществах. М., 1995. С. 19.